

## СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦИИ ЭПОХИ СИМУЛЯКРОВ

Обосновывается тезис о продолжении либерально-западнической эволюции России, проявляющейся прежде всего при сопоставлении знаково-символических аспектов социальной реальности России и Запада. Методологической основой статьи является концепция философа-постмодерниста Ж. Бодрийяра.

**Ключевые слова:** эпоха симуляций; идеология; политика; постмодернизм; символ.

Данная тема тесно связана с дискуссией о путях общественно-политического развития современной России. Наиболее заметными, на наш взгляд, являются две тенденции. Первая оценивает происходящие в стране процессы как возвратное движение либо в советское прошлое [1], либо в прошлое вообще [2]. Вторая делает акцент на психологическом надломе [3], неопределенности и непредсказуемости духовного состояния российского общества [4]. Примечательно, что большинство исследователей говорят о поражении нынешнего проекта либерально-демократического переустройства России, ожидая при этом усиления авторитарных, незападных веяний в развитии страны. Отметим, что, учитывая в своем анализе множество обстоятельств, ученые, на наш взгляд, зачастую недооценивают влияние на Россию постмодернистских тенденций, имеющих прямое отношение и к либерализму, и к вестернизации. В этой связи целью статьи является обоснование тезиса о продолжении либерально-западнической эволюции России, протекающей теперь преимущественно в рамках данных тенденций. Методологической основой является знаково-символическая концепция французского философа Ж. Бодрийяра, выбор которой обусловлен не только ее признанием значительной частью философского сообщества, но и достигнутым уровнем вестернизации [5] самой России, что позволяет говорить о принципиальной возможности плодотворного изучения российских процессов с использованием западных теоретических разработок.

### Социальная реальность после модерна

В середине XX в. Запад вступил в эпоху, известную под названием «постмодерной», или «радикально-модерной». Эти достаточно близкие по своему значению понятия отразили прежде всего динамизм и чрезвычайно возросшую скорость течения всех процессов общественной жизни [6], что обнаружило принципиальную разницу между «постмодерным» и предшествовавшим ему «модерным» типом общественного устройства, который в США и Западной Европе постепенно сузился до предмета исторического анализа.

Следует отметить, что на протяжении второй половины прошлого века высокие темпы модернизации Запада были неразрывно связаны с прогрессом информационных технологий, которые в конце столетия легли в основу его интегрированной экономики. Поэтому наряду с постмодернистскими теориями в изучении новой социальной реальности активную роль стал играть и концепт информационного общества, внимание которого было сосредоточено на анализе массовых информационных процессов. Солидарная характеристика западных стран начала XXI в. как информационно и

материально избыточных стала, пожалуй, одновременно принципиальным выводом и признаком единства этих подходов. Результаты исследований также показали, что данная избыточность оказала огромное влияние на состояние публичного знакового пространства посредством прежде всего девальвации слова, содержащего некие общественно-значимые смыслы, и усиления роли цифры, которая отображала динамику и иерархию социальных отношений.

Разрастание информационного пула, как правило, происходило двумя путями: снижением требований к новой, «входящей» информации и/или многократным повторением принятых сообщений. В результате проведенного анализа американский исследователь Е. Ноам (Eli Noam) пришел к выводу о том, что протекающие в настоящее время информационные процессы излишне открыты, в них «каждый может добавить свою информацию». А так как любые сообщения стали пригодными для массового тиражирования и доставки потребителю, информационные потоки быстро наводнились такими знаками, которые не несут в себе никакого смысла, ничего не означают. «Атакующие знаками со всех сторон, – справедливо отмечал Ф. Вэбстер, – ...мы сталкиваемся с коллапсом значения» [7. С. 20]. Как уже отмечалось, без ущерба для размера пула попытки ограничить количество поступающей в него информации были связаны с увеличением частоты повторения уже известных смыслов, что, однако, не смягчило, а лишь усилило тенденцию «деконструкции» массовых сообщений, прежде всего на уровне их субъективного восприятия. В итоге переполненные каналы телевидения стали неинтересным, глобальная сеть Интернет оказалась способной завлечь пользователей разве что развлекательным иллюстративным контентом, а печатные СМИ вообще оказались перед лицом утраты своей аудитории. Сегодня уже не нужно особо доказывать, что циркулирующие в медийном пространстве идеи, символы, образы, смыслы либо просто выпадают из фокуса публичного внимания, воспринимающего их в качестве бессмысленных, либо «бездумно, механически потребляются и расходуются индивидами, не оставляя в их сознании никаких следов, никак не отражаясь на образе мыслей и поведении людей» [8. С. 14].

Информационный взрыв выявил и другую, не менее серьезную проблему надежности, достоверности информации. Нельзя сказать, что нынешнее время несет прямую ответственность за нарастание массива недостоверных сведений, которых было достаточно и в прошлом. В противном случае мы констатировали бы нашу способность четко классифицировать окружающие нас коммуникативные явления, что неминуемо привело бы к неверному истолкованию их внутренней природы. Ирония судьбы состоит в том, что на самом

деле речь сегодня идет не о нарастании ложности или истинности информации, а о принципиальной невозможности установления факта истинности или ложности, о крайнем релятивизме и об отсутствии каких-либо доказательств как таковых.

К сожалению, подобное положение вещей распространилось теперь и на область экспертных знаний, которые в прошлом были достаточно надежным источником истины. У данной проблемы есть как минимум два аспекта. Первый связан с тем, что чрезмерное количество профессиональных оценок происходящих явлений или процессов затрудняет выбор правильного решения. Американский исследователь Д. Шанк на основе собственного анализа экспертного обсуждения ряда экономических вопросов пришел к выводу о том, что «увеличение объема экспертного знания парадоксальным образом ведет к меньшей ясности» [9. С. 91]. С этим мнением трудно не согласиться.

Второй аспект кроется в чрезмерном объеме теоретических знаний, который снижает степень их достоверности. У. Бек прямо говорит о том, что рост научного знания усиливает риски и для науки, и для всего общества. По его мнению, объективное знание отныне недостижимо, по крайней мере, в области естественных наук, техники и компетентного управления, т.е. там, где оно находилось в эпоху «модерна». Причина – в «невозможности получения знаний “из первых рук”». Но это, возможно, только начало. В будущем, по мнению Бека, речь может идти уже “не об опыте из вторых рук”, а о “невозможности получения опыта из вторых рук”» [10. С. 88], вследствие чего современное общество становится хрупким и потенциально опасным для собственных граждан, в нем «происходит распад традиционных социальных связей, их место занимает хаотическое взаимодействие субъектов жизни, которое неподвластно ни здравому смыслу, ни разумному управлению» [10. С. 88].

Материальная избыточность предельно сузила, если не полностью устранила из контекста человеческого бытия, область материального недоступного. Практически нивелировалась грань между отсутствующим и наличным, в значительной мере обесценилась утилитарная составляющая большинства предметов потребления. Повсеместная рутинизация, «омассовление» практически полезных свойств вещи повлияли на то, что ее истинная ценность стала соизмеряться не с вкладом в физический или интеллектуальный багаж человека, а со способностью максимально публицитно высвечивать место своего владельца на ступеньках социальной иерархии. Поэтому оставшаяся от прежней эпохи «вещь-функция» постепенно сменилась «вещью-информацией», а та, в свою очередь, трансформировалась в полностью автономную от любого материального референта «информацию» об обозначаемом ею объекте. Существенные изменения претерпело и понятие денег. Теперь это не столько материальный, сколько знаковый эквивалент.

Как известно, «вещь-информация» – это и предметы роскоши, не имеющие никакой практической ценности, и практически полезные, но «отягощенные» дорогими «брендами» вещи. Приобретаются и используются они нередко только потому, что приносят своему владельцу

дополнительные «эмоции» в виде публичного восторга или признания в качестве делового партнера некоторого элитного сообщества. Более высокий, «постматериальный» уровень социального позиционирования образует неовещественная информация. Это – чистая арифметика успешности личности. Размер и динамика банковского счета, место в соревновательных рейтингах, результаты опросов общественного мнения являются примерами подобной информации. Отметим, что сегодня сухие цифры статистики стали, пожалуй, главными доминантами человеческого поведения, на их основе сложились и новые формы контроля над человеком со стороны социальной среды его обитания. Изучение механизмов и социальных последствий трансформации «вещи-функции» в «вещь-информацию», а ее – в «информацию» легло в основу исследований Ж. Бодрийяра.

### **Концепция Бодрийяра как отражение символического облика современной эпохи**

Краткий обзор концепции Бодрийяра целесообразно начать с ее оценки научным сообществом. Преобладающими являются два противоположных дискурса, отображающих, с одной стороны, общегуманитарную, а с другой – узкорационалистическую точку зрения на основные выводы, к которым подошел Бодрийяр.

Сторонники общегуманитарного подхода называют Бодрийяра одним из лидеров современной критической теории, отмечая при этом его заслуги и в развитии постмодернистской традиции в целом. «Бодрийяр, – отмечает Н. Макинтош, – добился статуса не только одного из наиболее авторитетных постмодернистских теоретиков, но стал настоящим «гуру» как виднейший представитель современной критической теории» [11. С. 454]. Отметим, что это мнение о Бодрийяре не является дискуссионным, поскольку отражает позицию всей современной гуманитаристики. Между тем, оценивая вклад Бодрийяра в развитие обществознания в целом, постмодернистские теоретики закрепляют за ним статус новатора и автора разработок, в которых «отчетливо просматриваются контуры достаточно стройной социально-теоретической модели, последовательно разрабатываемой в рамках определенной постановки вопроса» [12. С. 105]. То есть здесь Бодрийяр предстает не столько как критик, сколько как позитивный социальный мыслитель, имеющий собственную и вполне самодостаточную точку зрения.

Негативное отношение к Бодрийяру сложилось главным образом у представителей современного рационализма, которые отказывают философу в праве на любой теоретический статус. Характеристика его исследований как не соответствующих критериям строгой научности и обвинения в сознательной дискредитации идеи рационального постижения бытия стали, пожалуй, главными постулатами критической аргументации рационализма. П. Хегарти, один из его представителей, в ответ на бодрийяровский тезис о неподлинности и неопределенности современного мира, полемически вопрошает: «Если наш мир парадоксален и неопределен, то и мысль должна быть такой же?» [13. С. 8]. Следовательно, если допустить, что дело обстоит

именно так, то неубедительными оказываются и сами попытки представить мир неопределенным – ведь если мысль так же туманна, как и исследуемый ею объект, то не превращаются ли любые доказательства неопределенности в хаос бессмысленных коннотаций?

Не сомневаясь в обоснованности утвердительного ответа на этот вопрос, поборники принципов «чистого рациона» для большей убедительности собственных аргументов выдвинули тезис о нарастающих колебаниях исследовательской линии этого «антисистемного» теоретика, якобы все чаще спотыкающегося о собственные гипотезы в потоке реальных событий современной эпохи. «В начале 1990-х, – отмечал в этой связи М. Джейн, – теория Ж. Бодрийяра приобрела новое направление, преследуя новые «фрактальные» подходы, мультиплицируя изменения в мире, – мире, где объекты заняли высокое положение, где события взрывообразно вторгались в бытие и где даже симуляции приобрели неопределенный вид» [14. С. 11]. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что современный рационализм пытается изобразить концепт Бодрийяра в виде «отрыжки» средневековой схоластики, а его самого – как теряющего свою аудиторию носителя вредных заблуждений, коими буквально «кишит» научный мир. Говоря же в целом о реакции научного мира на философию Бодрийяра, мы имеем право отметить междисциплинарный интерес, а также достаточно высокий уровень солидарности с ней ученых-гуманитариев.

Обратимся теперь к самим бодрийяровским тезисам. Как было отмечено выше, их основу составила идея неподлинности, неестественности современного общества, в котором вместо знаков, выражающих смыслы, в процессах коммуникаций господствуют безреферентные «копии» знаков – симулякры.

Известно, что впервые Бодрийяр обозначил этот термин в «Системе вещей», но наиболее полное истолкование дал в работе «Символический обмен и смерть». Данное понятие, однако, не является новым. Своими корнями оно уходит в учение Платона, который использовал термин «симулякр» в качестве ключевого слова при разработке алгоритма сотворения Человека по образу и подобию Бога. Платон полагал, что, совершив грехопадение, человек утратил связь с Богом, став его копией. Верные копии сохранили сходство с моделью, а неверные превратились в симулякры. В произведении «Политика» Платон адаптировал данную мысль к выяснению сущности государственного деятеля. Результатом стал вывод о том, что подлинный государственный деятель – это копия Бога, самозванцы и злодеи – симулякры.

Новизна и значимость бодрийяровского анализа западного общества последней трети XX в., по видимому, состояла в прояснении таких явлений, которые не были до конца очевидны раньше. По стечению обстоятельств знаменитым Бодрийяр стал не потому, что инициировал обсуждение новых вопросов или изменил ход обсуждения существующих, а благодаря своему активному участию в завершении, снятии с теоретической повестки дня многих из них. Например, именно Бодрийяр внес окончательную ясность в то, что на современном Западе «экономика перестает быть показателем реального общественного прогресса, перестает вообще что-либо фиксировать, кроме собственной

динамики» [15. С. 43]. Речь, иными словами, идет о том, что детерминантой нынешней жизни стала уже не сама экономика как совокупность характеристик и отношений системы материального производства и потребления, а ее бесчисленные «фантики» – статистические показатели транзакций, доходов и расходов, динамика которых не сказывается на материальном положении ни общества в целом, ни отдельного индивида, однако лежит в основании всех человеческих поступков.

Как известно, мысль о том, что, «освободившись от самого рынка, они (финансовые знаки. – В.Х.) превращаются в автономный симулякр, не отягощенный никакими сообщениями и никаким меновым значением, ставший сам по себе сообщением и обменивающимся сам на себя» [16. С. 76], активно разрабатывалась философом еще в 1970-е гг. А в начале 1980-х гг. Бодрийяр пришел к заключению, что симулякры полностью подчинили общество, возвестив о начале «новой эры симуляции, в которой организация общества основывается на симуляции, кодах и моделях, которые заменили собой производство в качестве организующего принципа общества» [17. С. 64]. На примерах из повседневной жизни Бодрийяр доказывал губительное влияние финансовой «арифметики» на мышление людей, которые, утрачивая рациональный стиль, превращали свое существование в гонку на «беговой дорожке» за абстрактным, несуществующим результатом. Растущий суицид, наркомания, депрессивные состояния, солипсизм – такова очевидная и наиболее деструктивная сторона экономической сверхэффективности.

Теперь обратимся к другому, не менее значимому наблюдению Бодрийяра. Речь идет о знаках, отображающих течение политической и культурной жизни западного общества. Сравняя их с финансовыми индикаторами, философ отмечает безотносительность тех и других какой-либо предметной области. Однако в отличие от финансовых, политические и культурные знаки не оказывают *никакого* влияния на функционирование социальных институтов. Иными словами, они говорят как бы на своем, *уже* неведомом современному мышлению языке, оставаясь, таким образом, за пределами человеческого сознания и бытия.

Для более убедительного обоснования этой идеи Бодрийяр анализирует исторически обусловленную эволюцию знаков, выделяя в ней четыре периода. Знак отражает фундаментальную реальность – это первый период; маскирует и искажает реальность – второй; третий период выявляет способность знака скрывать отсутствие реальности, а четвертый констатирует полное отсутствие какого бы то ни было отношения знака к реальности. Понятно, что главной в этой последовательности является последний период, который, собственно, и отделяет знаки, которые что-то скрывают от знаков, которые скрывают отсутствие чего-либо вообще. Отметим, что данная схема является не оригинальной, а скорее просто надежной, ибо в ее основу положена общепризнанная теория эволюции понятий. Бодрийяр же использует ее как обоснование собственной оригинальной идеи, ядро которой, как уже отмечалось, связано с последней стадией последовательности.

Напомним, что древнее сознание поддерживало самую тесную связь между понятием и реальностью –

слово или начертанный на камне символ мыслились человеком в качестве неподвластных субъективной переоценке, раз и навсегда данных предметов вселенского начала. Существовало лишь то, что было отмечено словом, и только будучи названными, та или иная вещь, зверь или птица могли занять свое место в первобытном реестре бытия. Сегодня эти представления оживают в существующих рядом с высокоразвитыми государствами догосударственных образованиях, открытых французскими антропологами еще в 30-х гг. XX в. и получивших наименование «шефри» (фр. *shéf* – вождь, глава). Как видно, само название указывает на такие организующие их начала, как вождизм, представляющий собой непосредственное продолжение структурной организации стадных животных во главе с вожаком, а также простое воспроизводство и невосприимчивость к воздействию факторов внешней среды. Это первый шаг эволюции образа.

Второй и третий этапы отсылают к восприятию понятий в эпоху Нового времени, которое вводит в оборот идею о том, что в основе законов общества лежит докультурное начало. То есть не поиск этических оснований человеческого поведения и обоснование надежных истин, а констатация эгоистической природы государства и человека становится целью мышления Нового времени. Эта жесткая эгоцентричность обнаруживает себя как в европейских обществах современного типа, так и в современных незападных обществах, в которых имеет место одновременное протекание названных этапов эволюции образа.

Четвертый период принадлежит современности, точнее, западной «постсовременности». Его материальными признаками явились многочисленные коммуникационные устройства – сотовые телефоны, огромное количество каналов телевидения, неисчерпаемый массив Интернета. Все они вносят вклад в формирование нового, так называемого «гиперреального мира», или мира, основанного на симулякрах масс-медийной культуры, в котором, по словам М. Тейлора и Е. Сааринена, «избыток становится избыточным», «все становится текущим и только текущее становится реальным», «происходит коммерциализация коммерциализации», «ни для кого не существует интеллектуальной безопасности», «результатом воображаемости становится анархия» [18. С. 79]. По мнению Бодрийяра, на этом этапе какие бы то ни было нефинансовые знаки перестают соотноситься как с какой-либо реальностью, так и с человеческим сознанием. «Если когда-то, особенно в период Нового времени, – отмечал Бодрийяр, – люди еще верили, что знаки репрезентируют нечто, то сегодня каждый в западном обществе понимает, что знаки только симулируют и ничего больше. Мы производим в изобилии образы, которые не передают никакого смысла. Большинство образов сегодня, которые доносят до нас телевидение, живопись, пластические искусства, аудиовизуальные или синтетические образы – все они не значат ничего» [19. С. 17]. Фактически Бодрийяр говорит о том, что история максимизировала дистанцию между понятиями и некогда стоявшей за ними предметной областью знания, а наступившее в конечном итоге состояние их смыслового опустошения видоизменило и саму природу массового

мышления, в котором первоначальное отношение человека к коммуникативным посланиям как объектам управления и целеполагания сменилось эмоциональным потреблением разнообразных форм «инфотеймента».

Публичная политика, по мнению философа, стала тем местом, где распредмечивание знаков происходит наиболее последовательно. Публичное политическое действие утратило всякий смысл. И если это утверждение ошибочно и смысла все-таки остался, то это смысл присутствия и контраста, а не сущности и сравнения. Политическая речь замкнулась сама на себе. Ее главная задача – быть в поле зрения, быть увиденной и услышанной, но не понятой. Ибо невозможно, да и не нужно заново понимать нечто неизменное, кем-то заранее заготовленное и регулярно появляющееся в подходящий момент времени. Нужен лишь такой же стандартный ответ, и он у широких масс населения есть. Он состоит в отстранении от публичного политического процесса, игнорировании технологии политических решений при одновременном усилении внимания к динамике экономических показателей. Политическое на Западе, пишет Бодрийяр, «...уже давно превратилось всего лишь в спектакль, который разыгрывается перед обывателем. Спектакль, воспринимаемый как полуспортивный-полуигровой дивертисмент (вспомним выдвижение кандидатов в президенты и вице-президенты в Соединённых Штатах или вечерние предвыборные дебаты на радио и телевидении), в духе заволаживающей и одновременно насмешливой старой комедии нравов. Предвыборное действие и телеигры – это в сознании людей уже в течение длительного времени одно и то же. Народ, ссылки на интересы которого были всегда лишь оправданием очередного политического спектакля и которому позволяли участвовать в данном представлении исключительно в качестве статиста, берёт реванш – он становится зрителем спектакля театрального, представляющего уже политическую сцену и её актёров» [20]. Массам преподносят смысл, а они жаждут зрелища. Убедить их в необходимости серьёзного подхода к содержанию или хотя бы к коду сообщения не удалось никакими усилиями. Массам вручают послания, а они интересуются лишь знаково-стью. Массы – это те, кто ослеплён игрой символов и порабощён стереотипами, это те, кто воспримет всё что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным [20]. Отметим, что своей радикальной характеристикой Бодрийяр отнюдь не принижает западного обывателя. Напротив, подчеркивая его выраженное безразличие к публичной риторике, философ приходит к выводу о присущей современному западному обществу скорее обостренной саморефлексии и определенности, нежели его некомпетентности и внушаемости.

### **Российская действительность в эпоху симулякров**

Публичное знаковое пространство России находится в переходном состоянии. Одна его часть осталась в модерне, частично ему соответствует, другая – вступила в новую, постмодернистскую стадию эволюции. Переходность характерна и для массового сознания. Существующая в нем картина мира несет в себе как исторически сложившиеся, так и новые очертания, их

восприятие простыми людьми является достаточно противоречивым. «Либеральные экономические ценности, – отмечал в этой связи Н.И. Лапин, – существуют в сознании людей рядом с традиционными политическими и национальными ценностями. На этой почве образуются кластеры синкретичных или полусинкретичных правил поведения» [21. С. 7]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское общество, находясь на историческом переломе, основывается на огромном разнообразии ценностей, убеждений и способов субъективных самовыражений.

Модерн формирует доверительное и серьезное отношение людей ко всякой речи, поддерживает многомерность и конечность всего информационного пула. Постмодернистские элементы, напротив, «уплощают» информацию до уровня элементарных индикаторов, способствуя маргинализации, а значит, и постепенной деконструкции любых словесных коннотаций. Как уже отмечалось, постмодернизм – это избыточность информации и множественность ее источников, которые существуют, однако, в одной смысловой плоскости. Отметим, что постмодернистский тренд, становясь все более заметным в последние годы, задает и свои социальные ориентиры, можно сказать, новое мировоззрение, которое ведет российское общество дорогой тотальной коммерциализации. Степень его интенсивности отличается от региона к региону, по-разному он проявляет себя и в различных социально-демографических группах. Пространственно «новая идеология» локализована в крупнейших мегаполисах страны, социально-демографически – в молодежной и средневозрастной среде. Здесь, как и на Западе, определяющими коллективные действия стали финансовые индикаторы.

Напомним, что еще в конце 80-х гг. XX в. наша страна представляла собой современный, индустриальный тип общественного устройства. Ее экономика основывалась на тяжелой промышленности, социальная структура – на двух основных классах, государственная власть – на жесткой вертикали. В массовом сознании доминировали многочисленные мифологемы, среди которых и историческое стремление во всем доходить до крайностей, до пределов возможного [22. С. 5], и системы бинарных оппозиций [23. С. 182], и вера в сверхъестественные способности политического лидера, и вытекающие из туманного представления о политической и экономической реальности неустойчивость и амбивалентность сознания [24. С. 68]. Этот далеко не исчерпывающий образ «базиса» и «надстройки» в течение многих десятилетий воспроизводил такой тип сознания, в котором неоспоримый авторитет государства в обществе сочетался с высокой степенью доверия людей к источникам официальной информации. Модерная инерция мышления оказалась столь сильной, что даже падение коммунизма в начале 1990-х гг. не вызвало *системных* изменений в способах общественной оценки существующих смыслов. Перемены в идеальной сфере российской политики ограничили главным образом *модерной* по своей сути идеологической рокировкой, в результате которой правящая элита сохранила возможность *знаково-символического* контроля над коллективным действием посредством смены идеологических парадигм и реконструирования соци-

альной поддержки новых, заимствованных из арсенала антикоммунизма способов управления людьми. Изменился лишь знак отношения: то, что прежде порицалось и изгонялось государством из общественного сознания, теперь стало принудительно внедряться в него.

Псевдолиберальная риторика позволила властям успешно маскировать решение застарелых общественных проблем фактической подменой этих проблем другими. Нехватка товаров сменилась отсутствием у народа денег, привилегированное положение военно-промышленного комплекса трансформировалось в господство финансовой олигархии, государственное насилие сменилось криминальным беспределом и т.д. Ответом простых людей явилось приспособление к трудностям, согласие «перетерпеть» непростые, но необходимые реформы, чтобы в будущем «вкусить» плоды процветания, теперь уже не коммунистического, а капиталистического. Так идеологический миф вновь стал материальной силой, а здравый смысл – ускользающей иллюзией.

Не нужно особо доказывать, что создавшееся в России начала 1990-х гг. положение вещей хорошо вписывается в понятие популистской демократии, основу которого, как известно, составляет неоправданное доверие населения к политическим заявлениям и его активное участие в публичной политической жизни. Несомненным признаком популистской демократии является институт прямых выборов, который рождает не подлинно демократическое правление, а обладающую иммунитетом от общества, устойчивую и безответственную власть. Очевидно, что принцип «один человек – один голос» не является демократическим и не обеспечивает равноправия граждан на выборах, ибо это – некомпетентный выбор, выбор избирателями не людей, в соответствии с их профессиональными качествами, а телевизионных «картинок», которые создаются профессиональными политтехнологами и журналистами в целях прямой или косвенной дезинформации общественного мнения. Специалисты в области государственного управления вытесняются при этом на периферию, а к власти приходят мастера политического пиара, не умеющие решать никаких конкретных вопросов. «Публичная политика, – справедливо отмечал российский исследователь О. Савельзон, – став в 1990-е годы распространенной профессией, так и не стала у нас специальностью, т.е. нормой компетентности, коей должен удовлетворять человек, чтобы называться специалистом. Управление обществом – самое сложное и ответственное занятие, поэтому вполне естественно, чтобы к нему допускали только после тщательной экспертной проверки. Предвыборная кампания и есть такая проверка, но в существующем виде она означает, что нужно лишь успешнее заморочить головы избирателям описанием того, как привлекательно для них они будут управлять» [25. С. 5]. Неудивительно, что российский политический ландшафт 1990-х гг. оказался заселен добравшимися до «кассы истории» демагогами, без стеснения и опаски перешагивающими через закон, мораль и права человека, позволившими расцвести коррупции и отбросившими в сторону любые обязательства перед обществом.

Перед народом, таким образом, предстала реальность, которую можно назвать демократией для немногих, что указывает на сохранение принципиального

статус-кво по отношению к советскому периоду, отсутствие реформ как таковых и необходимость признать, что движение России к западной модели «демократии для всех» так и не началось. Вероятно, поэтому ощущение потерянного для модернизации страны времени стало главной характеристикой массовых настроений конца XX в.

Этот период, став большим уроком для граждан, однако имел и другую сторону, которая выражалась в переосмыслении людьми двух принципиальных категорий общественного бытия – политики и денег. Последние в итоге приобрели тот самый постмодернистский оттенок, о котором говорил Ж. Бодрийяр применительно к Западу.

В конце XX в. на смену былому, эмоционально окрашенному отношению людей к политике как линейно организованной, прозрачной, поддающейся немногосложным оценкам сфере общественной жизни пришло новое ее восприятие как существующей по своим собственным законам, внутренне инверсивной, переполненной хитросплетениями и интригами, замкнутой внутри себя области частных интересов и отношений. Люди стали относиться к мотивам политических поступков и заявлений как к сугубо утилитарным и эгоистичным, у большинства из них сложилось стойкое ощущение того, что «обычные люди нужны власти только для выполнения определенных функций голосования или приветствия и должны выпрашивать, как милостыню, зарплату и социальные пособия» [26. С. 65]. Распространенным явлением стало безразличное отношение людей к политическим программам, заявлениям и обещаниям вне зависимости от их конкретного содержания, политическая жизнь стала постепенно выпадать из фокуса публичной аудитории, делаясь все в большей степени делом самого государства. Понижился уровень вовлеченности людей в выборный процесс. Участвуя в нем, избиратели думали уже не столько о продвижении во власть «своего» человека, сколько об организации механизмов сдержек и противовесов действующим политикам (лоббизм, акции протеста, демонстрации и пр.), которые вынуждали бы власть считаться с интересами избирателей. Для большинства россиян политика стала неким сегментом рынка, а политики – производителями интеллектуальных услуг в специфической области – государственном управлении; политические партии превратились в рекламные агентства, государство – в управленческую фирму, а публичный уровень «больших идеологий» стал синонимом лукавого «промоушена» плохо продаваемых товаров и услуг. Как и на Западе, в фокусе общественного внимания оказались не технологии государственного управления, а выраженный статистическим образом экономический результат.

Политическая элита столкнулась с проблемой делегитимации института государственной власти, что изменило всю систему формирования кадрового состава управленческих органов. Принцип прямого народного волеизъявления сменился внешне менее демократичной, но зато более функциональной схемой «наследования» власти, что повысило роль профессиональных механизмов политического контроля, с присущими им императивами более высоких моральных и профессио-

нальных требований к кандидатам в «преемники». Сократилось число площадок для широкого, общественного обсуждения (или его имитации) политических и экономических вопросов, но оживилась профессиональная дискуссия по многим из них. Парадокс возникшей ситуации состоит в том, что внешне государство как бы обособилось, дистанцировалось от народа, исчезло былое «душевное» взаимопонимание народа и лидера, а фактически произошло сближение интересов низов и верхов, более слаженной стала работа всего общественного организма. Власть повела себя более ответственно и профессионально, ведь условием ее легитимности стали не хитроумные оправдания собственных недоработок, а конкретный вклад в благосостояние каждого человека.

Другим не менее важным изменением стало новое восприятие россиянами понятия денег. Условиями его формирования были растущая коммерциализация и практически тотальный характер обнищания общества в 1990-е гг., что наложило свой отпечаток на интерпретацию этого понятия в нашей стране. Исследуя роль денег в современной России, Н.Н. Зарубина пришла к выводу о том, что по своей социокультурной и социосемантической природе деньги приобрели постмодернистский характер [27. С. 39]. С ней можно, хотя и не во всем, согласиться. Дело в том, что, в отличие от Запада, у нас, благодаря своей количественной недостаточности, деньги не сумели полностью «оторваться» от своего товарного содержания, а значит, сохранили за собой некий рациональный смысл, материальный референт своего существования. Поэтому специфика российских финансовых «симулякров» проявилась прежде всего в смещении собирательного образа денег по временной проекции социальной жизни – из знака грядущего благополучия человека деньги превратились в показатель его успешности в настоящем. То есть рубеж XX–XXI вв. достаточно четко отделил прежний образ денег как *цели* общественного развития, движение к которой предполагало выполнение множества частных задач, от нового их значения как *частной задачи*, которая существует в настоящем, подчиняет себе повседневность во всех ее формах и проявлениях. Это и экономика с ее статистическими показателями, и культурные ценности, выступающие теперь в качестве коммерческих объектов, и даже благотворительность, ставшая надежным источником снижения налоговой нагрузки на бизнес. Отныне любые человеческие поступки, будь то выбор профессии или места проживания, голосование на выборах в органы государственной власти или вступление в брак, оказались в прямой связи с его денежными эквивалентами. На этой почве происходит становление и новой системы ценностей, и новой идеологии, которая основывается не на механизмах коллективной солидарности и моральной ответственности, а на идеалах успешности и индивидуальной идентичности, индикаторами которых выступают все те же деньги.

В заключение следует отметить, что методология Бодрийяра помогла классифицировать ряд происходящих в России процессов в качестве постмодернистских, а следовательно, имеющих прямое отношение к либерально-западной традиции. Эта принадлеж-

ность подтверждается прежде всего тем, что характерное для 1990-х гг. внешнее подражание России Западу сменилось подлинным взрослением российского общества, усложнением его экономического и политическо-

го мышления, которого так не хватало прежде для успешного продвижения к сбалансированному, эффективному, лишенному резких имущественных и территориальных контрастов общественному устройству.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Шевцова Л.* Вперед в прошлое! Или манифест стагнации // Известия. 26.02.2004.
2. *Пивоваров Ю.С.* Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причинах неудач демократического транзита // ПОЛИС. 2006. № 1. С. 12–32.
3. *Пастухов Б.В.* Шаг назад, два шага вперед. Русское общество и государство в межкультурном пространстве // ПОЛИС. 2005. № 6. С. 66–92.
4. *Росенко М.* Нищета российской идеологии. Режим доступа: <http://www.kadis.ru/daily/dayjust.phtml?id=36562>
5. *Буров В.Г., Федотова В.Г.* Китайский опыт модернизации: теория и практика // Вопросы философии. 2007. № 5. С. 6–21.
6. *Гидденс Э.* Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004. 421 с.
7. *Webster F.* Theories of information society. Third Edition. N.Y., 2006. 317 p.
8. *Джохадзе И.* Демократия после модерна. М., 2006. 110 с.
9. *Shank D.* Data smog. N.Y., 1997. 287 p.
10. *Beck U., Lau Cr.* Second modernity as a research agenda: theoretical and empirical exploration in the «meta-change» of modern society // British journal of sociology. L., 2005. Vol. 56, № 4. P. 83–90.
11. *Norman B.* Macintosh From rationality to hyper reality: paradigm poker // International Review of Financial Analysis. 2003. Vol. 12, № 4. P. 450–456.
12. *Фурс В.* Контур современной критической теории. Минск, 2002. 196 с.
13. *Hegarty P.* Jean Baudrillard. (Live Theory). London, 2004. 176 p.
14. *Gane M.* Jean Baudrillard: In Radical Uncertainty. London, 2000. 103 p.
15. *Глинчикова А.Г.* Модернити и Россия // Вопросы философии. 2007. № 6. С. 40–45.
16. *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М., 2000. 264 с.
17. *Baudrillard J.* Simulacra and simulation. University of Michigan Press. Ann Arbor, 1994. 312 p.
18. *Lucas D.* Intra The impossibility of ethics in the information age // Information and Organization. 2002. Vol. 12, № 2. P. 74–80.
19. *Baudrillard J.* Seduction. Translated by Brian Singer. N.Y., 1990. 278 p.
20. *Бодрийяр Ж.* В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Режим доступа: <http://fanlib.ru/BookInfo.aspx?Id=4b1c7102-f299-43cf-9bea-622e634d96df>
21. *Лапин Н.И.* Проблема формирования современного социетального порядка в России // Вопросы философии. 2006. № 11. С. 5–21.
22. *Лихачев Д.С.* О национальном характере русских // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 5–19.
23. *Кивинен М.* Прогресс и хаос: социологический анализ прошлого и будущего России / Пер. с англ. СПб., 2001. 306 с.
24. *Дилигенский Г.Г.* «Запад» в российском общественном сознании // Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар. Вып 24. 2002. С. 65–80.
25. *Савельзон О.* Политика эффективности: новое решение // Вопросы философии. 2004. № 10. С. 5–32.
26. *Шестопал Е.Б.* Образы власти в постсоветской России: политико-психологический анализ. М., 2004. 181 с.
27. *Зарубина Н.Н.* Мифология денег в российском обществе // ОНС. 2007. № 4. С. 32–44.

Статья представлена научной редакцией «Философия, социология, политология» 27 октября 2008 г.